

Расул Гамзатов: Я был в партии, а мои стихи — нет

Расул Гамзатов давно и немудрено сказал о себе: «Я везде считаю себя специальным корреспондентом своего Дагестана. Но в свой Дагестан я возвращаюсь как специальный корреспондент общечеловеческой культуры, как представитель всей нашей страны и даже всего мира». Он приехал учиться в Литинститут с визитной карточкой Кавказа, а спустя годы возвращался на Кавказ «выбитые» из союзных министерств нержавеющие трубы, высокопроходимые машины и места в столичных клиниках для больных земляков, и еще Лермонтова, Пушкина, Маяковского, Тихонова — на аварском.

За давностью лет и после съезда народных депутатов в 1989-м, где выступление Гамзатова было совсем не в духе перемен, многие списали поэта со счетов. В это же время приостановились выпуски его сборников, всегда выходившие большими тиражами. Сейчас он воспринимается как человек из прошлого: лауреат двух премий, Ленинской и Государственной, член высоких советских президиумов.

Списан Гамзатов или не списан — кто-то это решает? А сам он живет, как и прежде, в Махачкале и так же выходит, только реже, на улицу, где пахнет близким Каспийским морем, и идет в дом Союза писателей, в свой кабинет. Сидит в пальто, потому что в здании не топят, находит силы подниматься и жать руки входящим, которые слушают его, как мудреца, а он посмеивается: «Любят у нас так — или мудрец, или глупец. Лучше, если бы просто умных было побольше».

Интервью с поэтом — на последней странице.



Фото Виктора АХЛОМОВА.

Известия, -1997. - 20 окт. - с. 6, 4

● Субботний гость

Расул Гамзатов: Я был в партии, а мои стихи — нет

Махачкала. Расул Гамзатович отвечает на вопросы «Известий».

— Легко ли вам дался переход из прошлой эпохи в нынешнюю?

— Если поэт нормально себя чувствует, он обычно не очень хороший поэт — значит, ему не интересен завтрашний день. Мне сегодня тревожно. Каждое утро, перед «свиданием» с дикторами телевидения, я боюсь последних известий. Сейчас всемоу, чтобы ни случилось в Дагестане, придать политический окрас, даже если речь идет об уличной драке. Я думаю: неужели так сложно не натравливать людей друг на друга? — и очень этого опасаясь, ведь люди доверчивы. На юбилее Шамиля один человек сказал: «Я никогда не думал, что те, кто носит усы и папачи, умеют лгать». А когда по телевидению врут по серьезным вопросам и выдают это за свободу мышления, я становлюсь противником самого дорогого и необходимого для меня — противником свободы. Лично я не могу позволить себе такие вольные, эмоциональные высказывания — ведь от них будет зависеть состояние души и ума читателей, которые мне верят. В этом смысле я несвободен, потому что до сих пор чувствую ответственность не за себя одного. Конечно, меня ранит, когда наши дети воют — к этому невозможно привыкнуть.

— Такое ощущение, что культура сейчас выполняет роль включенной видеокамеры — просто показывает картинки из жизни. В этом процессе участвуют драматурги, кинорежиссеры, художники и поэты тоже, но голосов не слышно. А ведь хочется уйти наконец от фактов, от информации, услышать мнение о происходящем, хоть немного приподнятое над обыденностью. О чем бы вы сегодня сказали?

— Поэт, я уверен, должен быть неторопливым, особенно в таких ситуациях, как сейчас. Тот, кто быстро откликается, ничего общего с поэзией не имеет. Для этого есть корпус быстрого реагирования — публицистика, журналистика. Случается, входят в него и поэты, но я не из их числа. Я человек не фактов, а вечных тем. Любовь — вот что сейчас главное для меня, вот где мне следует торопиться. Для любви все меньше остается места.

Сейчас на аварском языке выходит мой десяти томник. В нем все, что связано с политикой, я решил не публиковать, хотя многие из тех стихов более эмоциональны, чем лирика, какие-то даже песнями стали, и вообще они были немаловажной темой моей молодости. Сейчас они перестали быть не только явлениями жизни, но и явлениями поэзии. Что, думаю, справедливо: стихи все-таки должны оставаться событием человеческого бытия. Вот «Журавли» таким событием стали — стихотворение превратилось в песню, а эта птица — в монумент, в символ эпохи по погибшим на войне (я знаю, что такие памятники стоят во многих городах).

— Наверное, вы сталкивались с тем, что людям интересно узнавать поэта не только по его творчеству, сохраненному на бумаге. Свои сегодняшние размышления вы, конечно, никак не фиксируете,

хотя это тоже своего рода творческий этап.

— Да, у меня сейчас третий, последний возраст жизни. Помните у Лермонтова? «В полдневный жар в долине Дагестана с свинцом в груди лежал недвижим я...» Как я чувствую сегодня это состояние! Свою последнюю книгу я назвал так же — «В полдневный жар». Я думаю, как счастливы те поэты, которые сразу пришли в литературу, у которых не было детства, юности, старости, возраста не было. Таких мало. Даже в творчестве Пушкина, Лермонтова, Толстого есть временные этапы. Творчество Тютчева, скажем, нельзя периодизировать, нет жизненных циклов у Бернса, Хайяма, Петрарки. Они будто сразу спустились на эту грешную землю и принесли свое слово. А я подвожу итоги. Когда умер Роберт Рождественский, я был потрясен горем — мы дружили, но поэзию его я считал конъюнктурной. А последний томик его лирики полностью изменил мое мнение. В предсмертных стихах Рождественского я нашел колыбельные и поминальные мотивы. Звуки ни тех, ни других не долетают до меня — колыбель осталась далеко позади, для минонок тоже не время — я еще жив, дышу.

Конечно, я продолжаю любить. В молодости, да и всегда, я любил жену, женщин — без этого поэту нельзя. Хотя «нельзя» — не то слово. Меня многие считают эдаким специалистом — нет, я просто влюбленный. Я думаю, как красива любовь молодых, как она интересна! Но ей не сравниться со старческой любовью. Она уважительная, любовь стариков и старух, она мудрая и прекрасная. Любовь в молодости делает мальчишку взрослым, а взрослых мальчишками. Старческая любовь устойчивей и постоянней — это то, чего так не хватает нам в юности. Бесспорно, Бог создал мир совершенным, но лично я предпочел бы, чтобы люди рождались стариками, потом делались молодыми и оставались детьми — проходили бы свой путь наоборот. Как не хватало мне в юности всего, что я сейчас познал, что любил, над чем мыслить, как я хотел бы выбросить из своей молодости все глупое, а энергию пустить на то, чтобы писать. Сам у себя воровал время. Я вкладывал деньги в сберкассу, они, как у всех, пропали, а сейчас мне так хотелось бы годы в сберкассу положить, но чтобы они, конечно, цеды остались. У меня уже мало сил на стихи, я болен, к сожалению. Если бы у меня сейчас были запасы молодости...

— ... вы хотели бы что-нибудь изменить в своей жизни, по-другому прожить?

— Точно, не стал бы ни за что бороться. Напрасно считают, что поэт обязательно должен с кем-то сражаться. Он певец. Николай Некрасов, по-моему, сказал: «Мне песня мешала быть борцом, мне борьба мешала быть певцом». Некоторые критики советских времен его опровергали — нет, стихи, мол, помогли ему бороться. Не думаю. Идея борьбы посредством поэзии обернулась потом принципом партийности литературы — нам всем это очень помешало жить и писать. Поэт

родился раньше, чем человечество, и, конечно, раньше, чем гражданин. Поэт должен воспевать любовь, доброту, правду, счастье, а не партийную любовь, партийную правду, партийные расставания или партийные вздохи — ничего этого просто не существует. Да, я был таким. Рядом со мной сам Сулов казался беспартийным. Но к моему счастью, от того времени, когда членство в КПСС требовалось в каждой газете, в любом журнале, у меня осталось немного, что называется, идейных стихов. Я был в партии, а мои стихи — нет. И, не дожидаясь вопроса, скажу сам — да, я воспел Сталина. Но не потому, как считают, что боялся его: я действительно верил, со школы мне говорили — он твой отец, твой главнокомандующий, твой учитель. Победу в войне я целиком связывал с его именем. Взрослым меня сделала кончина двух людей — Сталина и моего отца.

А потом появилась другая крайность — нас стали называть детьми XX съезда, шестидесятниками... Это, я считаю, ерунда. Почему, скажем, Битов или Евтушенко — шестидесятники, а Рождественский и Айтматов — нет? Они все талантливые, но все разные — Рождественский кается, Евтушенко выдает себя за страдальца. Почему-то Ахмадулина причисляет себя к шестидесятникам, хотя она вроде не наследница Сталина, не из тех, кто стал поэтами благодаря двадцатому съезду. «Братской ГЭС» она не писала. Вообще литература на поколения не делится. Поэт или есть, или его нет, и поэтому он ровесник всех поколений и земляк всех наций.

— Вы испытываете ностальгию по прежней своей жизни, по тем порядкам, тем идеалам? Вообще, как по-вашему, легче жить с этим чувством или проще избавиться от него?

— Я непостоянный человек, часто меняюсь под влиянием тех или иных обстоятельств, но идеалы у меня остаются прежними. Пушкин был и остается для меня идеалом, хотя недостатки его я вижу, с чем-то (к примеру, «смирись, Кавказ, идет Ермолов!») соглашусь, но не могу, но гению простительны заблуждения и порывы. Шевченко — мой идеал, исключая некоторый налет национализма. Идеален молодой Лермонтов, он, возможно, еще совершил бы свои ошибки, но не успел. Может, я не прав, но идеалы видны только в ясную погоду, а сейчас дождь идет. И все же у человека есть вдох, значит, когда-нибудь наступит выдох, иначе нельзя жить. Утром я встаю, вижу солнечный луч и всегда надеюсь, что он вылечит землю. Земля так больна, она похожа сейчас на женщину, которая хочет быть матерью, но детей у нее нет. И без любви ничего у нас не выйдет.

Надо остановить воинствующих мужчин, надо всем стать дезертирами. Сейчас я стал сторонником того, что всю жизнь не принимал, — непротивленцем. Солнце, дождь вылетает из земли, а не идеалы — они, по большому счету, не нужны: мед надо брать из всех цветов, раз ты пришел на эту землю.

Елена ЕРМОЛЕНКО,
«Известия».